

Евгений КАСАТКИН

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ

*Ник вошел в свою комнату, разделся и лег в постель.
«Мое сердце разбито, — подумал он. — Я чувствую, что мое сердце разбито...»
Э. Хемингуэй. «Десять индейцев»*

Спектакль закончился. Зрители, поаплодировав, стали медленно подвигаться к выходу. То, к чему так долго готовились, стало вдруг прошлым, оставив после себя горьковато-солончатый привкус пота и разочарования.

Он не спешил выходить, ожидая, когда схлынет народ. Дежурные восторги поклонников тяготили его. Не привлекал и традиционный банкет — пить не хотелось, а все застольные разговоры были известны заранее. Когда толпа зрителей рассосалась, он быстро оделся и, ни с кем не простившись, вышел в коридор. Там его ждала девушка. Что-то ей от него было нужно, но вместе с тем, во взгляде ее, казалось, сквозила усмешка:

— Простите, можете уделить мне минуту? — в ее подчеркнuto вежливом тоне слышалась настойчивость, почти приказ. На вид ей было лет тридцать. Он остановился. — Вас зовут Евгений, если не ошибаюсь?

— Можно просто Женя.

— Хорошо, Женя. А меня звать Анна, или просто Аня. У меня к вам предложение. «Рационализаторское?» — он хотел сострить, но удержался.

— Я вас слушаю.

Она выдержала паузу, глядя ему прямо в глаза, что сразу выдало профессию: такому взгляду, видимо, специально обучают в театральных училищах.

— Мне очень понравилось, как вы сегодня работали, особенно в «Солнечном ударе». Я сама актриса, но такого раньше не видела. Очень интересно.

— Вы находите?

— Да. Я на вас смотрела и — знаете что? Так и представляла вас в одной роли.

— В какой?

— В роли Аккомпаниатора. Есть такая пьеса у Марселя Митюа, французского драматурга — может, слышали?

— Не слышал.

— Одноактная пьеса, для одного актера. Я очень хочу ее поставить, но нужен актер. Такой, как вы, Женя. Если хотите — можем попробовать.

Теперь он посмотрел ей прямо в глаза.

— Хотите поставить? Вы ведь сказали, что вы актриса?

— Да. Но мечтаю о режиссерской работе. Если вы согласитесь, это будет моим дебютом в режиссуре.

Он замялся.

— Даже не знаю, что вам ответить... Ну, хорошо, давайте попробуем.

Она вдруг обрадовалась, как ребенок.

— Спасибо! Договорились! Тогда я пришлю вам текст.

На следующий день он получил от нее пьесу, которая ему не понравилась. Он уже хотел было отказаться, но теперь это показалось ему неудобным. Он решил рискнуть.

После первой же читки Аня заявила:

— Женя, вот я вас слушаю и понимаю, что репетировать здесь, собственно, нечего.

Вам нужно просто выучить текст, и это уже можно показывать — уверяю вас, это будет выглядеть весьма достойно. Но это совсем не то...

Он обиделся.

— Что значит «не то»? Конкретней можно? И давай сразу на «ты» — так будет проще.

Он был старше ее, по меньшей мере, лет на двадцать.

— Нет, сразу я не могу. Может быть, позже, — она стала объяснять. — Видите ли, Женя... Вы слишком, как бы это сказать, — избалованы, что ли, — материалом. Поймите — это не Чехов и не Бунин. Это Марсель Миттуа, да еще в плохом переводе. Текст здесь примитивный, и он вам не помощник. Тут все нужно сыграть. Ваша задача не красиво произнести гениальный текст, а... подключить зрителя к новым мирам, понимаете?

— К каким мирам?

— К новым. Для них новым.

— Извините, Аня, «подключить к мирам» — это не ко мне.

— Вы так думаете? А в «Солнечном ударе» у вас это прекрасно получается! — она вдруг беззвучно, одними губами, активно жестикулируя, стала что-то говорить ему, изображая глухонемую. Ему почему-то стало неловко, и он опустил глаза. — Вы меня сейчас слышали? — он не ответил. «Может, она сумасшедшая?..» — Вот! И они не слышат его, то есть вас, понимаете? Я имею в виду зрителей. Представьте, что между ними и вами глухая стеклянная стена. Сквозь нее все видно, но ничего не слышно. Зрители не понимают, зачем вы сюда пришли. Они ждали не вас. А объяснить вы им ничего не можете — они вас не слышат.

— А я? Я понимаю, что меня не слышат?

— Понимаете. То есть они слышат, конечно... Физически. Но они... не слышат. Не хотят слышать. Заставьте их слушать вас! Разружьте эту стену. Вот вам задание. Только, умоляю, не с помощью голоса. У вас прекрасный, дивный голос. Но мне не нужен голос, мне нужна атмосфера. Мне нужны ваши глаза. Только глядя в них, я смогу понять, что то, о чем вы говорите, — правда, что вы меня не обманываете, что я могу вам верить. И знаете что, напишите мне, пожалуйста, вашу биографию.

— Мою?

Она внимательно посмотрела на него.

— Да, вашу.

«Меня зовут Мишель. Мишель Люк. Мне сорок лет. Роста я чуть выше среднего. Телосложения? Скажем так: с остатками некогда хорошей фигуры. Я сильно изменился за последние десять лет, и вряд ли теперь меня узнал бы кто-нибудь из моих прежних знакомых. С некоторого времени я стал сильно пить, и это не могло не сказаться на моей внешности. Нет, я не алкоголик... Я, видите ли, в некотором смысле, артист и по роду своей деятельности должен выходить на сцену. Хотя, нет, артист — это громко сказано в отношении меня. Я — аккомпаниатор. Аккомпаниатор у одного очень известного шансонье. Этот шансонье мог бы давно послать меня ко всем чертям, но он почему-то держит меня при себе вот уже семь лет. Трудно объяснить, зачем он это делает, ведь мы ненавидим друг друга. Особенно я... Впрочем, об этом после.

Я парижанин. Отец мой был тапером в кафешантане, мать — официанткой. Талант игры на фортепьяно обнаружился у меня еще в раннем детстве. Абсолютный слух, длинные гибкие пальцы... Отец хотел, чтобы я учился в консерватории, но денег на это не было. Едва мне исполнилось семнадцать, отец умер, а мать сбежала с любовником. Я подался в таперы. Мне не составило особого труда устроиться в приличный ресторан на хорошую зарплату. У меня появились деньги, и я мог бы поступить в консерваторию, как мечтал отец, но как раз в это самое время я влюбился. Влюбился не в женщину (и, естественно, не в мужчину, хотя в наше время это уже никого не удивляет). Я влюбился в мюзик-холл! В сверкающую, волшебную страну музыки, танца и удивительных, божественных звуков, издаваемых человеческим горлом, которые называются пением. Я понял — только здесь, в этой чудесной стране, возможно настоящее счастье! Здесь ты можешь быть кумиром тысяч, сотен тысяч, миллионов людей, обожающих тебя, боготворящих, готовых ради тебя на все. Я поставил себе это единственной целью жизни. Однако, мой талант исполнителя не сулил мне никаких перспектив. Пианист в мюзик-холле такой же тапер, как в ресторане, и даже хуже. Бог, к сожалению, не одарил меня голосом, и, несмотря на абсолютный слух, в певцы я не годился. Оставалось одно — танцевать. Этого я никогда не пробовал, но почему-то был уверен, что у меня получится. Я стал брать уроки танцев.

К счастью, тело мое оказалось столь же гибким и пластичным, как мои пальцы, чувства ритма мне было не занимать, и очень скоро я стал делать успехи. Все осложнялось тем, что при этом мне нужно было еще зарабатывать на жизнь, но, тем не менее, к двадцати годам я достиг такого уровня, что мог танцевать в кордебалете любого мюзик-холла. Но я мечтал о собственном номере. Я хотел быть солистом! Я ушел из кордебалета, год потратил на подготовку виртуозной программы и начал выступать самостоятельно.

Поначалу все шло из рук вон плохо, но постепенно дело сдвинулось с мертвой точ-

ки — обо мне заговорили в прессе. Меня заметили, стали сравнивать с другими исполнителями, и сравнение оказалось не в их пользу. В конце концов, обо мне написали в одной из центральных газет, и с этого момента началось мое восхождение на вершину. Меня стали приглашать в концерты с участием звезд. Я вставил в свой номер незатейливые песенки, игру на нескольких музыкальных инструментах, что в сочетании с бьющим фонтаном чечеточным вихрем имело ошеломляющий успех. Сбылась моя мечта! На меня стала ходить публика, у меня появилось имя: Люсьен Люк — певец-танцор! Вы спросите: почему Люсьен, а не Мишель? Дело в том, что мое настоящее имя мне никогда не нравилось, к тому же согласитесь, Люсьен Люк звучит гораздо приятнее.

К сожалению, все кончилось очень быстро. Я даже не понял, что произошло. Внезапно публика потеряла ко мне интерес. Это было как гром среди ясного неба. Я запамятовал, до предела усложнил программу, но даже если бы я танцевал, стоя на голове, это ничего бы не изменило — я просто вышел из моды. Меня перестали приглашать в звездные концерты в столицах, и я вынужден был соглашаться на почти безденежные гастроли в захолустье. Именно тогда стал вползать в меня этот отвратительный, изнуряющий душу холод, сковывающий все мои члены не снаружи, но изнутри. Руки мои, обычно очень горячие, что отмечали все, к кому я хоть раз в жизни прикоснулся, сделались ледяными. Пальцы перестали гнуться, сколько их ни растирай, ноги одеревенели. С тех пор я никак не могу согреться. Только алкоголь на время согревает меня, но стоит мне протрезветь, как в душу опять будто засовывают огромный кусок льда, вернее, чего-то такого, что гораздо холоднее и омерзительнее льда, тело мое коченеет, а душа цепенеет от ужаса.

Танцевать я больше не мог, да и не хотел, и поскольку согревало меня только спиртное, я стал спиваться. Публика удивительно быстро забыла обо мне, как будто меня вовсе никогда не существовало. Жизнь стала казаться мне пустым и неинтересным сном, и единственным моим желанием было, чтобы он поскорее закончился. Холод преследовал меня. Если мне не удавалось раздобыть выпивку, меня начинал бить озноб, от которого не было спасения. Наконец, меня вышвырнули на улицу, и я стал бродяжничать. Думаю, долго бы я не протянул, но в этом месте судьба моя сделала очередной поворот. Меня совершенно случайно встретил на набережной Сены, где я ошивался в поисках пропитания, мой давний знакомый еще по кордебалету. Выяснилось, что танцы он давно бросил и сделался импресарио, причем весьма успешным. Одно время мы были с ним, что называется, на короткой ноге, и он знал, что я неплохо играю на фортепьяно. Оказалось, что как раз сейчас он ищет подходящего аккомпаниатора для одного из своих клиентов и предложил мне попробовать.

С тех пор началась у меня новая жизнь, но сказать, лучше она стала или хуже, я затрудняюсь. Я опять стал хорошо зарабатывать, снял приличную квартиру, вернулся к своим привычкам. Но проклятый холод так и не отпустил меня. Играть я могу, только если пропущу стаканчик перед выступлением, иначе пальцы меня не слушаются. Мир я возненавидел. Единственная любовь, которая пылает во мне, это — любовь к зрителям, к той самой публике, которая предала и забыла меня, растоптала мое сердце и наплевала в душу! Но эта самая любовь причиняет мне нестерпимую боль, еще большую, чем пронизывающий меня холод. Ведь я — всего лишь аккомпаниатор, презренный тапер без лица и без имени, упомянутый в афише мелким шрифтом на последней строчке в графе «музыкальное сопровождение»! Эту боль еще можно было терпеть, пока я работал с малоизвестными певцами, но когда я стал аккомпаниатором у знаменитого шансонье, имя которого на устах у всей Франции, боль превратилась в пытку. И пытка эта продолжается вот уже семь лет. Я не просто ненавижу его. Я готов убить его, разрубить на куски, скормить его мясо собакам за безумную, рабскую, слепую, фанатичную любовь к нему публики! Я не понимаю, каким непостижимым образом эта посредственность, эта безголовая бездарность смогла добиться такой любви. Каждый раз после выступления, огуленный овациями и заваленный цветами, он делает небрежный жест в мою сторону, как бы предлагая поприветствовать заодно и меня, и зал взрывается аплодисментами, но они предназначены вовсе не мне, и это — особый, изощренный вид его издевательства надо мной. Как я ненавижу его за этот жест! С каким наслаждением я задушил бы его собственными руками! Сколько всевозможных хитроумных способов убийства обдумал я за эти годы! И час мой настал.

Ему стало плохо перед выступлением, и он струсил. Ведь публика не прощает слабости. Он испугался недовольства Ее Величества публики, потому что он, так же как и я, очень хорошо знает, как продажна ее любовь и как быстро переходит она с одного объекта на другой. Он попросил, чтобы я вызвал врача, а сам вышел к зрителям, ЕГО зрителям, и как-нибудь отсрочил, оттянул его появление на сцене, пока не закончится сердечный приступ. Но я и не подумал вызвать врача! Я оставил его умирать на диване в примерной, а сам пошел к МОИМ зрителям, моим любимым, дорогим зрителям, чтобы

рассказать им о том, как я бесконечно люблю их, как я предан им, несмотря ни на что. Несмотря на свою изуродованную жизнь, на холод, убивающий мою душу, на пропащие жизни тысяч таких же, как я, безумцев, которые хотели и стремились только к одному — быть любимцами публики!»

Он послал Ане свою биографию. «Женя, вы большой молодец! — она была в восторге. — Вы абсолютно точно угадали суть этого человека. Теперь — играйте!»

Прошло полгода. Они репетировали страстно, самозабвенно. Работалось им легко, он понимал ее с полуслова. В нем происходила странная перемена, он чувствовал, что только теперь, благодаря ей, становился актером. Он не был актером по профессии — это было призвание, состояние души. Любительский театр, студия, в которой он играл почти тридцать лет, была его вторым домом, отдушиной в затхлом воздухе жизни, но никогда не была местом его работы. Работы в смысле труда. Он узнал, что такое актерский труд только теперь, когда стал репетировать с Аней. До сих пор он никогда не уставал на репетициях и только сейчас почувствовал, сколько, оказывается, это отнимает сил! Но силы эти он отдавал с радостью, с наслаждением и сознанием того, что впервые в жизни делает на сцене что-то стоящее. Если на репетиции что-то получалось, она никогда не просила его запомнить это и делать так всегда. Напротив, она говорила, чтобы он ни в коем случае ничего не запоминал, не фиксировал, а каждый раз делал так, как хочется сделать именно сейчас, сию минуту. Она давала ему полную свободу. Но в то же время, каким-то непостижимым образом она направляла его, вела, как по острому гребню скалы, и если он делал шаг в сторону, тотчас же возвращала обратно, не давая свалиться в пропасть.

Настал день премьеры. Они договорились встретиться в студии утром и устроить «прогон» перед вечерним спектаклем. У него было странное чувство значительности происходящего. Привычного волнения совсем не было, но было ощущение, что должно случиться что-то очень важное. Нечто такое, чего до сих пор не случалось. Огромное и прекрасное. Он совершенно забыл о своем возрасте и чувствовал себя помолодевшим на двадцать лет. Но что же такое особенное могло произойти? Все это уже было в его жизни. Было и волнение, и вдохновение, и успех у публики — все это было ему очень хорошо знакомо, но никогда не казалось ему чем-то важным, значительным. Во всяком случае, это никак не могло повлиять на его жизнь, как-то изменить ее течение. Но сейчас все было совсем не так.

Она была уже в студии, и два прожектора, освещающих угол сцены, где должно было происходить действие, горели, испуская мягкий, ровный свет. Они были похожи на два маленьких желтых солнца. Когда он вошел и взгляды их встретились, он прочел в ее глазах то же, что и сам ощущал в душе: они были полны ожидания. Ожидания чего-то удивительного, необычного, волшебного. Ожидания чуда. У него перехватило дыхание.

- Что ты молчишь?
- А надо что-то сказать?
- Я почему-то совсем не волнуюсь.
- Я тоже.
- Это плохо.
- Я знаю.

Она попросила его по возможности не выкладываться, побережь силы для вечернего спектакля. Он обещал. Она погасила свет в зале, и «прогон» начался. Но как только он услышал музыку, он тут же забыл о своем обещании. Она была совершенно чудесной, ни на что не похожей. Эрик Сати. Он никогда раньше не слышал о таком музыканте, но теперь благодаря Эрику Сати ему открылся новый, необычный и прекрасный мир. Он плохо разбирался в музыке, но точно знал, что именно она ведет его за собой. Сегодня у него все получалось, он чувствовал это. Его воображение работало четко, подробно, без сбоев, и он ни на секунду не терял ощущения, что перед ним огромный, насколько хватает глаз, переполненный зрительный зал парижской «Гранд-Опера», а вовсе не маленький пустой зал студии, где он сейчас находился и где не было ни одного зрителя. Он видел, он чувствовал этих людей, пришедших смотреть и слушать совсем другого человека, известного певца, артиста, кумира публики, а вовсе не его, несчастного, забытого всеми аккомпаниатора, который пытается что-то им прокричать про свою жалкую, маленькую, никому неинтересную боль. А еще признаться им в любви, в своей огромной, всепоглощающей и всепрощающей любви, на которую им было совершенно плевать. И они уходили из зала, а он останавливал их, умолял, пугал, пускался на хитрости, выворачивал перед ними наизнанку свою странную, больную, трогательную, сумасшедшую душу. И они возвращались. Они слушали его. А он их просто любил. И хотел, чтобы они любили его...

Музыка кончилась. С прерывающимся дыханием и сердцем, бьющимся, казалось, не в груди, а в горле, он стоял на сцене, мокрый от пота и слез.

— Bravo! — Аня три раза хлопнула в ладоши, чего никогда раньше не делала. Потом она включила свет, подошла к нему и посмотрела ему в глаза. — Ты настоящий голливудский актер. Роберт де Ниро. Наши так играть не умеют, — он не знал, как на это реагировать. — Я боюсь одного: что ты не сможешь повторить это вечером на спектакле.

— Повторить? Ты же говорила, что ничего никогда не нужно повторять!

Она вдруг положила ему руки на плечи, не отрывая взгляда от его глаз:

— А сегодня мне хочется, чтобы ты повторил...

Как только свет в зале погас и спектакль начался, он почувствовал, как сердце его провалилось куда-то вниз, в область живота. Он вышел на сцену, сел за фортепьяно и заиграл. Включились прожекторы. Он начал говорить, сидя спиной к зрителям. Но когда он повернулся к ним лицом, свет ударил ему в глаза, и в первый момент он никого не увидел. Это было так неожиданно, что он на секунду остановился, пытаясь привыкнуть к новому для себя ощущению. Когда на репетициях перед ним были пустые кресла, ему легко удавалось представить сидящих в них людей. Сейчас же он видел только серую массу, очертания голов, но совсем не видел лиц, а только чувствовал, что в зале есть кто-то живой: ерзающий, кашляющий и враждебный. Это новое ощущение сбивало его, он никак не мог увидеть перед собой СВОЕГО зрителя. Он стал нервничать и вдруг почувствовал, что фальшивит. Это было самое страшное! В таких случаях его всегда выручал текст. Тот самый гениальный текст Чехова, Бунина, о котором Аня говорила на первой репетиции: достаточно было просто вслушаться в его звучание, и все сразу вставало на свои места. Текст сам настраивал на нужную ноту. Теперь же все слова, которые он произносил, казались ему корявыми, пустыми, ненужными. Они застредали у него в горле... И вдруг он вспомнил — музыка! Он совершенно забыл о музыке! А она звучала, тихая и прекрасная, напоминая ему о том счастливом времени, когда он выступал на сцене с собственным номером и публика его обожала. Он снова был Люсьеном Люком, танцором, певцом, которого однажды в Эвиане выпустили на сцену, сразу перед Шарлем Трене... Он почувствовал на себе луч прожектора, как верную руку друга на плече. И все вернулось к нему. Он стоял в луче прожектора и плакал. Он плакал не от боли, не от тоски и сожаления о своей глупой, неудавшейся жизни — он плакал от счастья. От того, что он еще существует, что он еще что-то из себя представляет. От того, что (наконец-то!) он играет по-настоящему, что он встретил Аню, что смог — смог! — хоть на полчаса стать настоящим актером. Робертом де Ниро. Он плакал, как ребенок, легко и радостно. Плакал, не задерживая дыхания, не применяя для этого никакой специальной техники, чего он, кстати, делать и не умел.

И тут он увидел СВОЙ зрительный зал, бесконечный, как небо. Люди, сидевшие в двух шагах от него, заполняли лишь первые ряды, а зал нигде не кончался. Зрители стояли в проходах, тысячи глаз смотрели на него. Они ждали. Он чувствовал, они верят: сейчас он скажет им что-то важное, скажет правду. И он говорил, говорил... Он говорил сбивчиво, вздохнул, смеясь и рыдая, то шепотом, то срываясь на крик. Он просил прощения. Он признавался в любви. В зале стояла мертвая тишина. Никто не шевелился. Ему казалось, что все у него получается. Он летел. Он парил в облаках.

— «Будьте великодушны, медам и месье... Я полагаюсь на вас... Договорились, да? Вы обо всем забываете, думаете только о том, что перед вами ваш любимец... Вы увидите, сегодня он будет в особом ударе... А я покидаю вас. И очень жалею, что покидаю... Но покидаю... Улыбайтесь же... Аплодируйте! Он идет. Вот он. Вот...»

Свет погас. Он медленно уходил со сцены. Ему аплодировали. Потом свет включили, и он вышел на поклон. Аплодисменты усилились и не смолкали, пока он стоял на сцене и потом, когда он ушел. Но во второй раз выходить он не стал. Не было сил. Он стоял за занавесом, слушая, как ухало в груди, отдаваясь эхом в ушах, его сердце, и чувствовал, как пот ручьями стекает с его лица. Он ждал Аню. Прошла минута, другая, третья — она не появлялась. И тогда он понял, что чуда не произошло...

Зрители выходили из зала. Наконец, он увидел ее. Они встретились взглядами. В глазах ее была грусть. Зрители подходили, окружали его — они не скупилась на похвалы. Но сейчас ему важно было только то, что скажет ему она. Только ее слова имели для него значение. Не могла же она совсем ничего не сказать! И она сказала.

— Я поняла, — сказала она, глядя в пол. — Ни в коем случае нельзя делать «прогон» в день спектакля, — потом она подняла на него печальные глаза и добавила с горечью: — Для меня театр начался со слов: «Я покидаю вас...»

Он вздрогнул. Это была финальная фраза спектакля. Значит, только с этой последней фразы начался для нее театр, настоящий театр, а до этого... Ни одно, самое едкое критическое замечание не могло бы ранить его сильнее. Он почувствовал, как под ним

проваливается пол и он падает, падает куда-то вниз, точно камень. Но виду он не подал.

— Ну что ж, значит, есть еще куда расти...

Она еще раз посмотрела на него долгим взглядом.

— Выше того, что я видела сегодня утром, расти некуда.

Ему стало холодно.

Он наотрез отказался идти с друзьями отмечать премьеру, что вызвало всеобщее удивление. Но ему уже было все равно. Он шел по улице и говорил сам с собой.

«Ну что, ты доволен? Дурак старый, идиот, что ты себе вообразил? Что ты великий актер? Что ты гений? А-а, ладно, черт с ним... Подумаешь, сыграл хуже, чем в первый раз. Ну и что? Никакой гений не может и не должен играть на одном уровне. В следующий раз сыграешь лучше».

Придя домой, он раскрыл настежь окно, откупорил бутылку вина, купленную по дороге, и стал пить, глядя в ночь. По мере того как он пьянел, по щекам его все обильнее текли слезы, но он их совсем не чувствовал. Ему почему-то вспомнилось, как они с отцом такой же теплой летней ночью ходили на рыбалку. Они разожгли костер у самой воды, чтобы видеть поплавки, но клева не было. Неожиданно отец стал читать вслух стихи. Отец читал хорошо, очень хорошо. При этом он смотрел куда-то вдаль, в темноту, и лицо его, озаренное пламенем костра, было удивительно красиво. Отец был тогда молод, намного моложе его самого, теперешнего. Вот уже двадцать лет как отца нет в живых...

«Ладно, гений, успокойся. Никакого следующего раза не будет. Все кончено».

Когда он проснулся, вся комната была залита ярким солнечным светом. Новый день, словно кувшин водой, наполнился перекрестными трелями птиц, робко пробующих голоса, да шуршанием шин изредка проезжающих по тихой воскресной улице автомобилей. Он лежал на кровати и глядел в потолок. Он не мог знать, что через две недели ему позвонит Аня и скажет, что она отправила видео их спектакля на международный фестиваль в Санкт-Петербурге и что их туда пригласят. И что они туда поедут, и он станет лауреатом, и народный артист России будет вручать ему диплом и золотую медаль. Все это будет потом. А пока он чувствовал себя десятилетним мальчиком из прочитанного когда-то давно, в юности, рассказа Хемингуэя. Мальчиком, которому разбила сердце маленькая девочка и который решил, что жизнь его на этом закончилась. Он в подробностях вспоминал вчерашний спектакль, как четки перебирая в памяти события, разговоры, взгляды... Дошел до Аниной фразы: «Для меня театр начался...» Тут он улыбнулся, и улыбка, задумчивая и печальная, долго не сходила с его лица. «Мое сердце разбито», — подумал он. После этого он еще долго лежал так, не двигаясь, ни о чем не думая, не вспоминая, ни о чем не беспокоясь. Затем медленно, удивляясь звуку собственного голоса, произнес:

— Я чувствую, что мое сердце разбито.

МЕРА ВЕЩЕЙ

Известный писатель Неверов затыкнулся, выпустил дым из ноздрей и посмотрел куда-то вдаль.

— Люди — лишь мера вещей. Надо писать не о людях, а о явлениях.

Повисла пауза. Андрей Глебов, писатель менее известный, докурил свою сигарету, тщательно затушил окурок о край стоящей рядом урны. Последняя фраза Неверова его озадачила. Она требовала пояснений.

— А что вы понимаете под явлениями?

— Все, что явлено. В природе ли, в людях ли... То, что стоит за их словами, мыслями, поступками.

— Вы имеете в виду мотивы?

— Не совсем. Скорее, мотивы мотивов. Первопричины, которые заставляют людей думать и поступать именно так, а не иначе.

— Божий промысел?

— Если угодно. Впрочем, не имеет значения, как это называется.

— Ну, с мыслями и поступками, допустим, понятно, а как быть с чувствами? Почему я чувствую именно так, а не иначе? Ведь чувства не рациональны. Я не могу чувствовать по-другому, потому что я так устроен, потому что я — это я! Думать могу, а чувствовать — нет. Это от меня не зависит.

— Тут вы правы. Поэтому чувствами занимается, в основном, поэзия. Хотя в одном не соглашусь — чувства тоже очень даже рациональны... Но вы меня извините, мне пора идти. Скажите, как вас зовут?

— Глебов. Андрей.

Он протянул Неверову визитку. Тот взял и, прочтя, прищурился.

— Я читал вашу повесть. Сильно написано. Мне и раньше говорили о вас, я вспомнил. И хорошо говорили, хвалили. Обязательно почитаю ваши книжки. Всего вам доброго, — Неверов поднялся со скамейки и протянул Глебову руку. — А меня зовут ...

— Я знаю.

— А вот визитки у меня нет, к сожалению.

— И все-таки вы несколько исказили Протагора, — продолжал Глебов, задержав руку Неверова в своей. — «Человек есть мера ВСЕХ вещей». Это значит, что в центре мироздания находится не вещь, а именно человек, его «я». Мир таков и только таков, каким он кажется мне.

Неверов улыбнулся какой-то совершенно невероятной полуулыбкой, одновременно и снисходительной, и скромной.

— Это утверждение мне кажется несколько самонадеянным. Я, видите ли, не сторонник антропоцентризма. Ведь тогда, в силу того что все мы разные, не существует объективной истины, а я придерживаюсь противоположной точки зрения. И, кстати, если будете писать о чувствах, пишите не о том, как они возникают, а о том, как проявляются, — он мягко высвободил руку и, чуть наклонив голову, сделал движение, будто снимает шляпу. — Честь имею кланяться. Очень приятно было познакомиться с вами. Надеюсь, мы еще встретимся и продолжим этот интересный разговор. А теперь я должен идти — меня ждут.

Он, слегка сутулясь, пошел по дорожке, в сторону леса. Глебов смотрел ему вслед. Высокая фигура в светло-сером дорогом костюме медленно таяла в темноте. «Странно, кто его там может ждать?» — подумал Глебов. А на следующий день Неверов исчез. Глебов больше не видел его ни в столовой, ни выходящим, как всегда чуть-чуть навеселе, из буфета, ни прогуливающимся в окружении друзей по аллее, ни курящим возле подъезда отеля. Он пропал. На вопрос, куда делся классик, кто-то из приятелей Андрея ответил:

— В клинику лег. У него рецидив. Рак в четвертой стадии — ты разве не знал?

«Так вот отчего он пьет... — догадался Глебов. — Ему страшно».

На фестивале, председателем жюри которого был Неверов, Глебову присудили первую премию в его номинации. Потом Глебов вернулся в Москву, дописывал роман, редактировал его, договаривался с издательством и в хлопотах совершенно забыл о ночном разговоре с классиком. И когда через полгода он наткнулся на некролог, сердце его болезненно екнуло, как будто его проткнули гвоздем: «На 69-м году жизни скончался видный российский писатель...»

«Мера вещей...» — вспомнилось Глебову. Какова была эта мера у писателя Владимира Неверова и какие вещи были ею измерены? А ведь он прав — важны не люди, а вещи. Первые смертны, вторые вечны. Такие вещи, как любовь, добро, красота — вечные сущности. И человек интересен не сам по себе, а лишь постольку, поскольку эти вещи проявляются, являются в нем. Если являются. «Писать надо не о людях, а о явлениях». Человек лишь мера, мерило...

И внезапная догадка мелькнула в голове у Глебова. Он быстро набрал в поисковике имя и фамилию, зашел в Википедию: «Наиболее значительным произведением писателя является его роман «Мера вещей»... Глебов долго рылся в интернете, прежде чем нашел интересующий его текст, и стал читать.

Утром он позвонил редактору издательства.

— Добрый день, Александр Евгеньевич. Глебов.

— Здравствуйте, Андрей Юрьевич.

— Александр Евгеньевич, тут такое дело... Я хочу роман свой пока из издательства забрать. Он нуждается в существенной доработке.

— Как забрать? Вы шутите? Роман уже в наборе!

— Нет, не шучу, к сожалению...

Редактор долго молчал, потом ответил ледяным тоном:

— Воля ваша. Это ваш роман. Я надеюсь, вы отдадите себе отчет в том, что все неустойки будут за ваш счет?

— Да, разумеется. Простите, что поставил вас в неудобное положение, но это очень важно.

— И много будете переделывать?

— Все.

ВЕРА СМОТРИТ В НЕБО

В нашем дворе удивительная детская площадка. Играя на ней, дети никогда не ссорятся, не дерутся. Я, во всяком случае, ни разу не видел. Площадок вокруг много, но все они заперты в угрюмых колодцах многоэтажных домов, отчего там всегда темно и сыро. Эти дворы нравятся подросткам: взобравшись с ногами на лавки, они там курят, пьют пиво и грязно матерятся. А наша площадка выходит прямо на улицу, вся открыта солнечному свету.

Гулять к нам приходят даже из дальних домов. В хорошую погоду — буквально не протолкнуться. Но это никого не раздражает. Наоборот, чем больше народу, тем веселее! Из моих окон хорошо виден двор, деревья не мешают, и даже смотреть с высоты тринадцатого этажа на переполненную детьми площадку приятно.

Родителей немного. С детьми гуляют в основном няни. Няни тут самого разного калибра: от молчаливых азиаток до разговорчивых хохлушек. Встречаются, впрочем, и коренные москвички. Например, Яшина няня — пятидесятилетняя кудрявая хохотушка Татьяна. Говорят, она даже с высшим образованием, что среди нянь теперь не такая уж редкость. Родителей же — раз, два и обчёлся: я, Вера, пара бабушек и два приходящих из других домов папы, имён которых я не знаю, но снимаю перед ними шляпу, поскольку глубоко убеждён, что с детьми гулять должны именно отцы.

У моей внучки Саши отца нет. Вернее, в принципе, он есть, но с семьёй не живёт. Папа с мамой в разводе и проживает теперь в другой стране, поэтому воспитываю Сашку я. Дочь работает, а мы с женой на пенсии, вот и гуляем по очереди с внучкой на площадке. Сегодня — моя очередь.

Сашке шесть лет. В детский сад она не ходит. Так получилось, что два года назад папа уехал работать в Норвегию — он крутой программист — и увёз их с мамой туда. Папа считает, что в России жить нельзя. Но в Норвегии жить не смогла мама — моя дочь. Так они мыкались, мыкались, пока не развелись. Как ни умоляла мама папу вернуться на родину, любовь его к Норвегии оказалась сильнее. Когда дочь с внучкой вернулись, отдавать Сашку в детсад было уже поздно. Так она стала дворовым ребёнком, другом малышкой. Со сверстниками её мы встречаемся только по вечерам, когда те приходят из детских садов, а днём на площадке одна малышня, которая в детсады ещё не ходит. Сегодня здесь, кроме нас, ещё Сима с Верой.

Вера, мать маленькой Серафимы, молодая женщина лет тридцати пяти, сидит на лавочке в тени липы. У Веры доброе, миловидное лицо. На нём отсутствует косметика, только губы чуть подкрашены. Одета она просто, но со вкусом: чёрная, с небольшим разрезом юбка до колен, светлая ажурная блузка со стоячим воротничком, которая её очень молодит. У Веры необыкновенные глаза. Улыбчивые. А вот губы улыбаются редко. Но если это случается, на ее щеках появляются ямочки, и вы сразу понимаете: Вера — красавица.

С Верой мы почти друзья. Она отдала нам парту, за которой Сашка теперь занимается, готовясь к школе. Старшие дочери Веры уже переросли эту парту, а младшая Сима ещё не доросла, вот Вера и предложила её нам, причём отдала бесплатно, хотя парта дорогая.

Два года назад Веру бросил муж. Бросил с годовалой Серафимой на руках и ещё с двумя дочерьми: одиннадцати и тринадцати лет. Нашел себе жену помоложе.

Глядя на Веру, я совершенно не представляю себе, как её можно бросить. Даже постороннему человеку ясно, что бросать таких женщин нельзя. Ведь Вера — ангел! Она чистая и прозрачная. И беззащитная. Бросить её — все равно что ударить ребёнка по лицу. И жили они с мужем хорошо, и любовь у них была. То, что была любовь, видно по Вериним дочерям. Все трое, включая маленькую Симу (как зовут старших, я не знаю), уменьшенные копии матери, только степень уменьшения разная. Поэтому они очень похожи друг на дружку. Старших я иногда встречаю в лифте. Они прекрасны. Такие дети рождаются в любви.

Живут они в нашем доме недавно — приехали откуда-то с Севера. В Москве купили квартиру. У мужа Веры серьёзный бизнес. Жили дружно, душа в душу. Вера после долгого перерыва родила третью дочку — Серафиму. Что ещё, казалось бы, нужно? Москва, квартира, достаток...

Верин бывший муж, как и мой бывший зять, живущий теперь в Норвегии, — в общем-то, нормальные, приличные люди. По крайней мере материально они своих брошенных жён поддерживают. Муж Веры даже предоставляет в её распоряжение машину с личным шофёром, чтобы возить старших дочек в школу и по разной другой надоб-

ности. Но личный шофёр не заменит, конечно, родного папу...

Вера, так же как и я, не понимает, почему её бросили. Это непонимание написано у неё на лице — оно слегка удивленное. Брови чуть приподняты, в глазах вопрос. Нет, она не ропщет, не осуждает, только спрашивает: почему? Но ответа нет.

Сейчас Вера, запрокинув голову, смотрит в небо.

Что она пытается там увидеть? Может, просто подставляет лицо солнцу, загорает? Но тогда глаза были бы закрыты. А она смотрит. Долго, внимательно.

Какое сегодня чудесное небо! Город будто плывет в нём, как корабль в море. Оно везде, со всех сторон, огромное, бездонное, насколько хватает глаз... Интересно, а насколько их хватает? Ясно, что появившись сейчас над Москвой на высоте десяти тысяч километров какой-нибудь самолёт-разведчик, мы его не увидим. Почему же нам кажется, что мы видим всю глубину неба?

Внезапно Вера опускает глаза. Взгляды наши встречаются. На щеках её вспыхивает румянец и появляются ямочки. Те самые. Она смущается и тут же снова поднимает голову вверх, подставляя лицо солнечным лучам. Но на этот раз глаза её закрыты. Вера загорает. Тем самым она дает мне понять, что и тогда, минуту назад, она тоже загорала. Но меня не проведешь. Я точно знаю, что и теперь, с закрытыми глазами, она смотрит в небо. А оттуда с любовью смотрит на Веру Бог.

Возможно, это и не так. Возможно, Вера смотрит в небо просто так, от нечего делать. Возможно, никакого Бога нет. Но что тогда есть? Вот эта наша странная, бессмысленная жизнь? Пошлое и глупое недоразумение?

ПАМЯТЬ

Как только Серега купил машину, подержанную раздолбанную «девятку», отец его, Василий Андреич, стал приставать к нему с этой поездкой.

— Старик меня задолбал, — жаловался Серега своему другу учителю Потапову. — До деревни четыреста верст, сорок лет прошло, там и в живых-то, поди, никого не осталось, а ему, видите ли, могилу отца навестить надо.

Водил Серега неважно, и такое далекое путешествие было ему не под силу. А у Потапова — двадцатилетний водительский стаж.

Из Москвы выехали засветло, чтобы до ночи обернуться. Василий Андреич, невысокий моложавый старик, лицом похожий на пожилого актера, на местности ориентировался плохо. Он только помнил, что в деревню ездили по железной дороге до станции Алексеевской, а потом еще тридцать верст на лошадях. Карты у них не было, и представление о маршруте имелось весьма приблизительное.

Андреич сильно переживал, что лет сорок назад, когда умер отец, не приехал на его похороны и потом ни разу не был на могиле и даже не знал, где она находится. Ехали на юго-восток, в сторону Рязани. По обеим сторонам дороги тянулись бесконечные поля, и это наводило тоску. Потапов, привыкший к северным дорогам, где лес подступает вплотную к обочинам и едешь, как в коридоре, видя перед собой только шоссе, то взбегающее на очередной холм, то сбегаящее с него, скучал. Дорога сливалась с полями, в глазах рябило и очень хотелось спать.

Проблемы начались, как только съехали с трассы. Андреич мог указать только примерное направление, а с названиями населенных пунктов постоянно путался. Пока добрались до райцентра, два раза заблудились. Пришлось останавливаться, спрашивать дорогу, возвращаться обратно. В райцентре про деревню Холопьево, куда они направлялись, никто не слышал. У Потапова возникло ощущение, что придется возвращаться в Москву несолоно хлебавши. Василий Андреич, вопреки своему довольно презентабельному внешнему виду, оказался человеком крайне в себе неуверенным и мнение свое легко менял на противоположное.

— Зря мы через Горшково поехали. Надо было через Аннино, — говорил он, хотя идея ехать через Горшково принадлежала именно ему.

— Разворачиваться? — нервно интересовался Потапов.

— Да нет, чего уж... Поехали через Горшково. Через Аннино-то ближе было.

Ехали через Горшково, причем Василий Андреич все время повторял, что через Аннино было гораздо ближе, хотя это уже не имело никакого значения.

Доехали, наконец, до деревни, которую Василий Андреич хорошо помнил, потому

что она была верстах в пяти от Холопьево. Деревня была большая. По широкой центральной улице ходили куры и гуси. Вдоль дороги росли огромные, в три обхвата деревья, похожие на вязы. У магазина «Продукты» стоял пожилой грузный мужик в резиновых сапогах, соломенной шляпе и ситцевой рубашке с коротким рукавом. Он то ли ждал кого-то, то ли просто грелся на солнце. Из распахнутой настежь рубахи торчал огромный живот.

Потапов остановил машину.

— Ну что, куда дальше? Может, у мужика этого спросим?

Сергея обернулся к отцу:

— Поговоришь?

Василий Андреич кряхтя вылез из машины и не спеша пошел к магазину. Он долго беседовал с мужиком, то поднимая, то опуская руку, и со стороны казалось, будто внутри у него срабатывает какой-то механизм. Потом он закурил, предложил мужику, но тот отказался. Мужик вообще в основном молчал и пожимал плечами. Один раз громко засмеялся. Минут через двадцать Василий Андреич вернулся в машину.

— Проехали мы. Надо было километра за два направо свернуть.

— Там поворота нет!

— Должен быть.

Они с трудом разглядели съезд на грунтовку, ныряющую в овраг, а после исчезающую где-то в полях. Дорога сильно петляла, без конца раздваивалась, но спросить, по какой нужно ехать, было уже не у кого. Вдали вырисовывалось что-то похожее на лес — его они и держались, потому что Андреич твердо помнил, что вокруг деревни был лес.

Лес оказался сплошь лиственным — березы, дубы, осины, иногда липы да дико разросшийся, непролазный кустарник. Еле заметная в траве слепая дорога то совсем пропадала куда-то, то вновь появлялась как из-под земли неожиданно наезженной косой колеей. Никаких признаков человеческого жилья, даже брошенного, нигде не было видно. Иногда попадались вросшие в землю, нелепые в своей одинокой разбросанности останки колхозного инвентаря: то скелет ржавой веялки, то кабина какого-то допотопного грузовика с вынутыми потрохами.

Затем за деревьями показалось длинное полуразрушенное сооружение вроде коровника. Одна стена у него полностью отсутствовала, а в остальных зияли заросшие травой и кустарником бреши. Явственно пахло мерзостью запустения. Дороги к коровнику не было, но чуть дальше деревья расступались, как бы приглашая повернуть налево, и там в прогале виднелись крыши домов. Потапов свернул в прогал, осторожно поехал по высокой траве, рискуя провалиться в какую-нибудь невидимую яму, но вскоре уперся в сплошную зеленую стену.

Это был бывший колхозный сад, наглухо заросший кустами и подлеском. На ветках, проглядывая сквозь листву, висели мелкие одичавшие яблоки. Деревня должна была быть где-то совсем рядом. Вглубь леса проезда не было, поэтому решено было Сергею и Василию Андреичу идти искать деревню, а Потапову оставаться при машине.

Они ушли. Потапов, открыв все двери и откинувшись на водительском сиденье, стал слушать птиц. Машина стояла в траве, доходившей до капота. Яркое светило солнце. Уставший с дороги, он не заметил, как уснул.

Возбужденно говорившие Сергей с Василием Андреичем вернулись только в четвертом часу.

— Ничего не узнать, как будто не наша деревня!

— Так, может, действительно не ваша? — усомнился Потапов.

— Как не наша? — возмутился Андреич. — Наша. И школа наша. Только от деревни-то ничего не осталось.

— А дом свой нашли?

— Дом не нашли. Как сквозь землю провалился.

— Дом-то куда мог деться?

— Бог его знает. Заросло тут все.

— А давно в деревне не живут? Мужик-то, у магазина, что говорил?

— Лет двадцать, наверное. Может, больше. Нам бы кладбище найти.

Пора было возвращаться в Москву. Потапов вылез из машины и огляделся. Справа лес, слева поля. Никаких ориентиров. Решили отправиться на поиски кладбища вместе, оставив машину здесь, хотя это было рискованно — запросто можно потом не найти.

Потапов брел по глухой заросшей лесной дороге, быть может, бывшей когда-то деревенской околицей. Вросшие в лес дома производили странное впечатление. Больше всего пугали не развалины без окон и дверей, а целые, не заколоченные и как будто еще живые, с почерневшими мутными стеклами и цветастыми занавесками на окнах.

Потапов не мог отделаться от ощущения, что за этими занавесками кто-то есть.

Сергея с отцом убежали куда-то вперед. Настроение у Потапова испортилось. Он злился на Серегу за то, что тот втянул его в эту дурацкую поездку, и чувствовал, что у него вот-вот разболится голова. Постояв немного и глубоко вдохнув, он развернулся и пошел назад к машине.

На дороге вдруг появилось коровье стадо. Это было так неожиданно, что Потапов вздрогнул. Значит, где-то совсем рядом была жизнь, были люди, а ему казалось, что они попали на какую-то другую планету. Коровы с треском продирались сквозь кусты, стараясь освободиться от налипших на морды слепней, и, проходя мимо Потапова, косили на него глупыми глазами. Стадо гнали два молодых парня на лошадях. Потапов хотел было спросить у них про кладбище, но, увидев бредущих следом Серегу и Андреича, подумал, что те, наверное, уже все выяснили.

Кладбище было довольно далеко от деревни в полях, где окруженный со всех сторон океаном клевера возвышался небольшой островок леса. Дорога шла прямо по клеверу, постриженному, как газон. Собственно, это была не дорога, а едва угадываемый по примятой траве след от автомобильных колес. На кладбище давно уже не хоронили, и посещали его, видимо, редко. Но, подъехав поближе, они увидели расчищенную от зарослей площадку, служившую стоянкой для машин, так что посетители тут все-таки бывали.

Заглушив мотор, Потапов поразился висевшему в воздухе звону. Звон шел отовсюду, со всех сторон. Потапов не сразу понял, что это цветущий клевер гудит, звенит, стонет от жужжания и стрекота тысяч перелетающих, прыгающих с цветка на цветок насекомых. Это была не симфония, а монотонный гул, одна единственная нота, сверхмощная вибрация, усредняющая и приводящая многоголосый хор к одному общему знаменателю. Звон был таким сильным, что у Потапова заложило уши.

Прорубленный в зарослях проход служил воротами. Кладбище сильно заросло, внутри царил полумрак. Удивительно, но здесь среди осин и берез росли огромные ели и было тихо. Деревья и кустарник полностью поглощали шум клеверного моря.

Потапов сразу понял, что отцовскую могилу им не найти, так как больше половины могил были безымянными. Деревянные кресты давно повалились и сгнили, а надписи на табличках, прикрепленных к железным, стерло время. Гранитные надгробья попадались редко. К некоторым ухоженным могилкам были протоптаны дорожки, но в основном кладбище состояло из заросших травой бугорков, в редких случаях обнесенных покосившимися оградками.

В воздухе как-то по-особенному пахло, как всегда пахнет на кладбищах. Так, наверное, пахнет вечность, подумал Потапов.

Василий Андреевич и Серега долго бродили между могил, кружа, переходя с одного места на другое и опять возвращаясь. Они несколько раз обошли кругом все кладбище — но тщетно. Могилу не нашли. Андреич на чем свет стоит костерил свою родную сестру, хоронившую отца.

— Эта сучка могла его и не здесь закопать. Сколько раз писал ей, сообщи, где отца похоронила, — куда там! Даже не ответила. Паскуда...

Солнце садилось. Потапов подошел к Сереге и сказал, что надо ехать домой, иначе они отсюда вообще никогда не выберутся. Василий Андреевич сильно расстроился.

— А может, он тут лежит... Или тут... — рассуждал он, указывая то на одну безымянную могилу, то на другую, — остановившись у одной из них, он с досадой махнул рукой, достал из кармана пиджака заготовленную заранее чекушку, отвинтил крышку. — Эх, батя, прости ты меня... Земля тебе пухом. Царствие небесное, — с этими словами Василий Андреевич, запрокинув свою красиво, по-актерски посаженную голову, приложился к бутылке и сделал два больших глотка из горлышка. Оставшуюся водку он вылил прямо на могилу. Потапова это неприятно удивило. — Ладно, ребята, поехали в Москву.

Вокруг быстро темнело. Ехали молча. Потапов вел машину и думал.

Чего ради проделали они этот неблизкий путь? Чтобы облить водкой чью-то безымянную могилу? Это казалось Потапову нелепым. Сорок лет мысль о посещении отцовской могилы не давала Василию Андреевичу покоя. И что? Вот приехали они сюда, за четыреста верст. Могилы не нашли. А если бы нашли, что бы это изменило? Андреевич произнес бы над ней те же самые слова и проделал бы ту же самую процедуру.

Зачем живые приходят на могилы умерших? Хорошо, если помолиться, но чаще — выпить водки. Но молиться, а тем более, пить водку можно и дома. В чем же тут дело? А дело все в памяти. И не просто в памяти, а в памяти подтвержденной, доказанной самим фактом посещения могилы. Пока мы их помним, они живы...

Но это же абсурд! При чем тут наша память? Разве память людская является залогом бессмертия души? Потапов крепче сжал руль, и математический мозг его (Потапов был учителем математики), повинувшись многолетней привычке, заработал еще напря-

женнее.

Какая чудовищная профанация, рассуждал он, заменить вечную жизнь человеческой памятью! Через несколько лет умрет Василий Андреич. Будет ли помнить своего деда Серега, а тем более его дети, которых у него до сих пор нет и, может быть, никогда не будет? Смешно даже говорить об этом. Но Серегин дед — человек маленький. А как быть с великими? Как быть с памятью не отдельного человека, но человечества? Как быть с историей? Уж великих-то будут помнить всегда, вечно, во веки веков!

А что если нет?.. Ведь мир-то этот, в конце концов, прейдет, кончится. Он обречен — это же дураку ясно! И судя по тому, что вытворяет на земле человек, произойдет это очень скоро. Человечество просто перестанет существовать. *Приидет же день Господень яко тать в нощи, когда земля и яже на ней дела* (а значит, вся память человеческая, вся его история) *сгорят*. Сгорят!! И что же останется? Абсолютное ничто, бывшее до сотворения мира, или все-таки вечная жизнь, в которую войдем Господом все мы: и давно умершие, и ныне живущие, и будущие, ибо Он — *есмы путь и истина и живот*? Ведь других вариантов просто нет. Третьего не дано! Но возврат в ничто безумен и нелогичен. Тогда все теряет смысл — и жизнь, и смерть, и разум, и мысль, и даже Бог — все...

Противоречие жизни и смерти не разрешимо памятью. Неважно, мал ты или велик, гениален или бездарен, будут помнить тебя или нет благодарные потомки или хотя бы твои ближайшие родственники. Но если душа твоя исполнена веры и благодати Божьей, смерть над тобой не властна, потому что ты имеешь жизнь вечную, а не жалкие подпорки в виде человеческой памяти. Не вечная память, а вечная жизнь дана человеку Спасителем. У Бога мертвых нет! И жизнь эта новая, другая, не похожая на земную. Это жизнь в ином теле, в иной реальности, где *будет Бог всяческая во всех* и не будет ни земной памяти, ни земной истории.

Нет, не листики мы на общем дереве — человечестве, которые умрут, сменившись новыми, и ничего от них не останется, кроме очередного годового кольца на стволе. Ибо сказано, что сгорит это дерево, сгорит вместе со своими кольцами, а мы не можем сгореть! И не в детях наше продолжение, ибо умрут дети, и дети детей умрут, а наше бессмертие не может зависеть от чужих жизней. Именно в нем, в нашем личном бессмертии, продолжение наше, а вовсе не в причастности к бесконечному ряду сменяющихся друг друга поколений. Безусловно, прошлое связано с настоящим, связано непрерывной цепью событий, но не это дает нам бессмертие. Потому что цепь эта конечна, и ряд этот конечен, и память конечна, а бесконечен только один Бог.

И Потапову стало легко на душе. Благодать сошла в сердце его, и было такое чувство, как будто он только что доказал великую теорему. Ему захотелось поделиться этим с кем-нибудь, но говорить с Серегой было бессмысленно — тот в Бога не верил, считал себя эзотериком и очень этим гордился. К тому же он мирно спал на переднем сиденье, прижавшись щекой к боковому стеклу.

«Девятка», чуть дребезжа, вздрагивая и покачиваясь, мерно катила по пустому ночному шоссе. Правая фара ее была дальше, чем левая, и обочина дороги освещалась лучше, чем встречная полоса. На заднем сиденье ворочался Василий Андреич. Он тоже спал, но часто просыпался и, проснувшись, каждый раз повторял одну и ту же фразу:

— Просил же, как человека, сообщи, где отца схоронила... — и, выдержав паузу, обязательно добавлял: — Паскуда.